

© 2024. С. Б. Королева

Нижегородский государственный лингвистический университет
им. Н. А. Добролюбова г. Нижний Новгород, Россия

**«Полтава» А. С. Пушкина vs «Мазепа» Байрона:
аспекты полемики и ее отражение
в англоязычном пушкиноведении**

*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
№ 24-28-00706 «Пушкин в западноевропейском каноне русской литературы:
динамика и варианты осмысления (период 1920–1960-х годов)»*

Аннотация: В статье определяются степень изученности и варианты решения вопроса об отношениях между «Полтавой» Пушкина и «Мазепой» Байрона, уточняются и дополняются научные представления о полемике пушкинского произведения с байроновской поэмой. Особый интерес к вопросу о соотносительности «Полтавы» с «Мазепой» в современном англоязычном литературоведении связан с интересом к политическим убеждениям поэта в контексте влияния так называемого нового историзма. Это приводит современных зарубежных исследователей к выводу об условности историзма Пушкина, к акцентуации его имперских взглядов (так они понимают пушкинскую державность). Социологизированному подходу в статье противопоставлен комплексный литературоведческий подход, совмещающий метод сравнительно-исторического исследования и герменевтического анализа художественного текста. Доказывается, что, вступая в полемику с Байроном и его «Мазепой», Пушкин вырабатывает особые художественные стратегии, встраивающие психологию в историю и историю в психологию.

Ключевые слова: А. С. Пушкин, лорд Байрон, «Полтава», «Мазепа», современное англоязычное литературоведение, аспекты полемики, художественные стратегии.

Информация об авторе: Светлана Борисовна Королева, доктор филологических наук, доцент, Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова, ул. Минина, д. 31а, 603155 г. Нижний Новгород, Россия. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-7587-9027>

E-mail: svetlakor0808@gmail.com

Дата поступления статьи в редакцию: 10.07.2024

Дата одобрения статьи рецензентами: 17.08.2024

Дата публикации статьи: 25.12.2024

Для цитирования: Королева С. Б. «Полтава» А. С. Пушкина vs «Мазепа» Байрона: аспекты полемики и ее отражение в англоязычном пушкиноведении // Два века русской классики. 2024. Т. 6, № 4. С. 64–89. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2024-6-4-64-89>



This is an open access article
distributed under the Creative
Commons Attribution
4.0 International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 6, no. 4, 2024, pp. 64–89. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 6, no. 4, 2024, pp. 64–89. ISSN 2686-7494

Research Article

© 2024. Svetlana B. Koroleva

Linguistics University of Nizhny Novgorod
Nizhny Novgorod, Russia

Pushkin’s “Poltava” vs Byron’s “Mazepa”: Aspects of the Controversy and Its Reflection in English Pushkin Studies

Acknowledgements: The study was supported by a grant of the Russian Science Foundation no. 24-28-00706 “Pushkin in the Western European Canon of Russian Literature: Dynamics and Variants of Understanding (The Period Between the 1920s and the 1960s).”

Abstract: The article aims to determine the degree of research coverage and variants of resolving the problem of relations between Pushkin’s “Poltava” and Byron’s “Mazepa” and accordingly clarify and supplement academic knowledge about the polemical orientation of Pushkin’s work towards Byron’s poem. Particular interest in the issue of the correlation of “Poltava” with “Mazepa” in modern English-language literary criticism is connected with attention to the writer’s political beliefs contextualized by the influence of new historicism. This leads modern foreign researchers to the conclusion that Pushkin’s historicism is conventional since the poem reveals his imperial or even imperialistic views. This sociological approach is opposed in the article by a comprehensive literary analysis combining the methodology of comparative research and techniques of hermeneutic analysis. The article argues that, entering into polemics with Byron and his “Mazepa,” Pushkin developed specific artistic strategies that embed psychology in history and history in psychology.

Keywords: Alexander Pushkin, Lord Byron, “Poltava,” “Mazepa,” modern English-language literary criticism, aspects of polemics, artistic strategies.

About the author: Svetlana B. Koroleva, DSc in Philology, Associate Professor, Linguistics University of Nizhny Novgorod, Minina St., 31a, 603155 Nizhny Novgorod, Russia. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-7587-9027>

E-mail: svetlakor0808@gmail.com

Received: July 10, 2024

Approved after reviewing: August 17, 2024

Published: December 25, 2024

For citation: Koroleva, S. B. “Pushkin’s ‘Poltava’ vs Byron’s ‘Mazepa’: Aspects of the Controversy and Its Reflection in English Pushkin Studies.” *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 6, no. 4, 2024, pp. 64–89. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2024-6-4-64-89>

Как известно, основной текст «Полтавы» был написан Пушкиным в кризисный для него 1828 г., сопровождавшийся тяжелыми настроениями «середины пути», поисками жизненных, философских ориентиров [Лотман: 118–140]. Ключевыми в этих поисках, по известному утверждению Г. А. Гуковского, стали «две темы, как две стороны или два проявления одного <...> устремления — история и современность, или иначе: история как рассказ о жизни реальных, конкретных людей, творимых историей и творящих ее, и современность как раскрытие судьбы народа, как такой же рассказ» [Гуковский: 84]. Поэтика «Полтавы» выросла из этих двух тем в соответствии с особыми идейно-эстетическими задачами, которые решал в поэме Пушкин.

Основополагающие черты поэтики «Полтавы» глубоко изучены в отечественном и зарубежном литературоведении. Начало этому изучению было положено еще в литературной критике конца 1820-х — начала 1840-х гг.: в статьях М. А. Максимовича [Максимович] и В. Г. Белинского [Белинский]. Как отмечает Ю. М. Лотман, для изучения «Полтавы» «наибольшее значение имеют работы Г. А. Гуковского, В. В. Виноградова, Д. Д. Благого, Н. В. Измайлова, В. М. Жирмунского, М. И. Аронсона и Б. И. Коплана» [Лотман 1995: 257]. Этот список необходимо в настоящее время дополнить фамилией самого Ю. М. Лотмана [Лотман], а также Д. П. Ивинского [Ивинский]). Это касается отечественного литературоведения. Из зарубежных исследований выдающимся с точки зрения глубины и оригинальности представляется фрагмент из монографии Дж. Бейли (John Bayley, 1971 [Bayley]), посвященный «Полтаве».

Обобщая сказанное в работах исследователей-пушкинистов, выделим основные тезисы:

1. «Полтава» создавалась в период, «когда проблема историзма с особенной остротой встала в сознании Пушкина» [Лотман: 257]. Литературно-историософской опорой для писателя стали способы изображе-

ния истории, выработанные в творчестве Шекспира, Вальтера Скотта, Карамзина [Измайлов; Bauley: 108] и поэтов-декабристов [Соколов; Steiner]. У Шекспира он заимствовал принцип эпической дистанции, «бесстрастности» в изображении прошлого, освещение проблемы политического мятежа через детальную характеристику личности мятежника; у Карамзина — идею жизни прошлого в настоящем, идею народности и государственности в приложении к русской истории; у Вальтера Скотта — приемы построения «исторической романтической поэмы» (в частности, внимание к частным характерам и историческим реалиям, контраст политических и частных коллизий) [Bauley: 108–109]; у поэтов-декабристов — сосредоточение повествования вокруг исторической темы, столкновения социально-политических сил [Соколов]. При этом такие приемы как недосказанность, включение в повествовательную ткань диалогов, взволнованный тон повествования, развитие новеллистической сюжетной линии, черты байронического героя — все эти приметы лирической романтической поэмы, восходящие к Байрону и его «восточным повестям», Пушкин в «Полтаве» приспособливает к задачам реалистической исторической поэмы.

2. Особый строй пушкинскому историзму задает параллельное развитие на рубеже 1830-х гг. в его творчестве двух противоположных тенденций: а) представления «об исторической оправданности и неизбежности объективно сложившегося порядка», которое несло с собой возможность и более глубокого осмысления жизни народа, государства и личности и «опасные черты примирения с реальной» действительностью; б) убежденности в том, что история «оправдывается прогрессом человечности» [Лотман: 257–258].

3. Поэма принципиально следует доступным автору историческим, документальным источникам, на чем сам Пушкин настаивает в предисловии к произведению и в ответе на замечания критики. В число этих источников входят как русские, так и французские книги: первое издание «Истории Малой России» Д. Н. Бантыша-Каменского (1822), «Деяния Петра Великого» И. И. Голикова (1788–1789), «Журнал Петра Великого», «История Петра» преосвященного Феофана Прокоповича, исторические труды Вольтера, «История Карла XII» Адлерфельда, книга Лезюра по истории казачества. Отступления от исторических фактов касаются некоторых частных деталей и эпизодов, таких как имя Марии (Матрены в действительности), финал истории ее побега

к Мазепе (в поэме гетман укрывает ее в своем доме, тогда как документально зафиксировано, что он отсылает ее к отцу), эпизод с доставкой казаком письменного (а не устного, что отмечено в протоколах допросов) доноса на Мазепу [Шутой].

4. При всей важности «новеллистического» или «лироэпического» сюжета (страсть старика гетмана к юной героине, ее любовь к нему, бегство из родительского дома, ревность, вызванная его внезапной холодностью, безумие), «Полтава» создавалась как историческая поэма (эпопея, героическая поэма) о Петре Великом [Гуковский: 93–96; Ивинский]: действие в ней направляется как выбором героев, так и историческими событиями, которые предстают некоей объективной закономерностью. Между этими двумя сюжетными линиями нет равновесия: из трех песен только одна сосредоточена на изображении подлинно исторических событий — Полтавской битвы и ее последствий; в то же время, через психологизацию образа главного героя поэмы Мазепы в новеллистическом сюжете тема объективного хода истории соединяется с темой субъективного, индивидуально-личностного начала [Жирмунский: 201]. С другой стороны, сочетание лироэпической и исторической сюжетных линий, их взаимосвязь и взаимодействие позволяют встраивать голос автора в разные контексты и, соответственно, наделять его различными функциями: возможностью нравственной оценки с позиции исторической правды, эмоционально-личностной вовлеченностью (характерна для романтической поэмы) или же духовно-родовой сопричастностью происходящему — в случае изображения батальных сцен (встречается в военной поэзии времен Отечественной войны 1812 г., в ораторской прозе декабристов).

5. Поэма вступает в художественно-историческую и одновременно художественно-политическую полемику с сочинениями, авторы которых, в соответствии с романтической (байронической) концепцией благородного бунтарства титанической личности, изображали в центре действия мятежного героя и связывали с этим образом (в ущерб подлинной историчности) идею политического предательства, ренегатства как способа достижения личной свободы и (или) народного блага. В частности, это касается возвышенно-романтического образа Мазепы в поэмах «Войнаровский» К. Рылеева и «Мазепа» Байрона (обе упоминаются в пушкинской «Полтаве») [Bauley: 112]. В этот ряд входит «Конрад Валленрод» А. Мицкевича, сюда же можно отнести и «Осаду

Коринфа» Байрона: «Если в идеологическом плане “Полтава” дистанцировалась от героизации предательства как средства политической борьбы, то в литературном — от романтизма и “байронизма”» [Ивинский].

6. Многосоставная композиция (посвящение — прозаическое предисловие — текст поэмы — примечания) обеспечивает «дополнительность точек зрения»: «Предисловие посвящено лишь Петру и Полтавской битве, историческим персонажам <...>. История предстает здесь в своей теоретической сущности. Примечания также историчны, но комментируют текст поэмы <...> в подчеркнуто бытовом, прозаически точном ключе». Уравновешивая «государственно-исторический» пафос «Полтавы», Пушкин усиливает ее «гуманный пафос» посвящением как способом «усиления интимной атмосферы вокруг личности автора» [Лотман: 265, 262].

Отметим, что структурно-смысловое соотношение основного текста поэмы с примечаниями заимствуется Пушкиным у Байрона¹. При этом у Пушкина изменен сам характер таких справок: они представляют собой не отсылки к личному опыту познания «другого» (романтическая стихия субъективности), но ссылки на исторические источники и факты (фактура исторической объективности). Кроме того, цитата из «Мазепы» Байрона, предваряя не только текст поэмы, но и посвящение, *структурно* играет двойную роль: и эпитафия, и предисловия. Тем самым она полемически отсылает не только к тексту байроновской поэмы, но и к ее «анонсу» ('Advertisement').

Байрон предваряет текст поэмы цитатами из «Истории Карла XII» Вольтера; в самой поэме правдивость сведений, содержащихся в них, как и точка зрения на Мазепу, никак не оспаривается. Поэма художественно обрабатывает сюжет и образ, заданный историческим анекдотом из книги Вольтера. Пушкин, приводя цитату из Байрона перед посвящением, отсылает читателя не только к поэме, но и к ее основному источнику — Вольтеру, на что указывает и место, и сама форма цитации. Возражая критикам «Полтавы», Пушкин выделяет важный для понимания своей поэмы факт: «Байрон знал Мазепу только по Вольтеровой “Истории Карла XII”. Он поражен был только картиной

¹ Байрон, как известно, создал такую структуру для своих «восточных повестей» (см., в частности, «Гяура»).

человека, привязанного к дикой лошади и несущегося по степям» [Пушкин 7: 133]. Тем самым эпиграф-предисловие свидетельствует о двойной направленности полемики, которую автор ведет в «Полтаве»: полемики о (не)допустимости романтизации истории и ложной героизации исторической личности в художественном произведении и в историческом труде.

7. С «дополнительностью точек зрения» в пушкинской «Полтаве» связан «синтез средств выразительности» [Ивинский]: автор опирается в разных ее эпизодах то на условно-поэтический язык романтизма в сочетании с фольклорными стилизациями; то на одический стиль и, соответственно, церковнославянизмы и другие архаические элементы [Виноградов: 137–144], то на формулы, характерные для эпической поэмы [Соколов: 57–90], — и все это «в сочетании с формулами живой речи» [Гуковский: 106]. Главный принцип здесь — создание нужного языкового образа: так, «Пушкин говорит о Полтавском бое <...> не языком Ломоносова, но вводя в стилистическую характеристику своей поэтической речи колорит <...> ломоносовского громозвучного пафоса, восторженного оптимизма, величия стиля, рожденного величием побед той эпохи» [Гуковский: 104].

Как видим, основные выводы об особенностях поэтики пушкинской «Полтавы» учитывают *генетическую* связь поэмы с «восточными повестями» Байрона, с байроническим героем и жанровыми традициями романтической поэмы (в двух ее версиях — лирической (новеллистической) и исторической). Что же касается полемической ориентации пушкинской «Полтавы» на другой байроновский текст — «Мазепу», выводы о ее существовании, в целом, основаны на отсылках самого автора и на свидетельстве А. Н. Вульфа. О диалоге «Полтавы» с «Мазепой» Пушкин говорит эксплицитно дважды: эпиграфом к поэме, взятом из байроновского текста, и возражением критикам «Полтавы». Из ироничного комментария в возражении и свидетельства Вульфа известно, что Пушкин первоначально хотел назвать поэму «Мазепа», как и Байрон, но отказался от этого намерения [Пушкин 7: 133; Вульф: 15]. Не вдаваясь в подробный пересказ того, что хорошо изучено, отметим следующее: сопоставление указанных свидетельств и отсылок с общими признаками поэтики и содержания «Полтавы» позволило ученым прийти к следующим выводам:

– Пушкин хорошо знал поэму Байрона и полемически ориентировался на нее;

– Первоначально он хотел, как и Байрон, назвать свою поэму «Мазепа», но поскольку его основной целью было создание «национального исторического эпоса», то поэма приобрела название «Полтава»¹;

– Принципиальна разница в методе (романтический — у Байрона и романтически-реалистический — у Пушкина) и характеристике главного героя: романтизированного у английского поэта, психологически и исторически реалистичного у русского².

В целом, перечисленные тезисы достаточно и с одинаковой степенью достоверности фиксируют то, что сказано о полемике пушкинской «Полтавы» с байроновским «Мазепой» как в отечественном, так и в англоязычном пушкиноведении — вплоть до XXI в. Уже в «пушкинской» главе авторитетной научно-просветительской книги М. Бэринга «Очерк русской литературы» (*An Outline of Russian Literature*, 1914) отмечено, что Пушкин полемически ориентировался на байроновскую поэму и, намереваясь первоначально назвать свое произведение «Мазепа», отказался от этой идеи, чтобы не сойтись в этом с Байроном. Не вдаваясь в дальнейшие объяснения, Бэринг отмечает в пушкинском тексте ведущую роль жанровой традиции героического эпоса, давая понять, что цель воздвигнуть «памятник Петру Великому» [Baring: 73]³ не могла не увести Пушкина далеко от байроновской версии Мазепы как образа стоической, героической (хотя и не полностью в духе романтического героя) личности.

В 1940-е гг. полемикой Пушкина с байроновским «Мазепой» заинтересовался Янко Лаврин — профессор славистики в университете Ноттингема, близкий знакомый Д. С. Мирского. В научно-популярной книге «Пушкин и русская литература» (*Pushkin and Russian Literature*, 1947) он указал на эпитафию, взятую Пушкиным из поэмы Байрона, и на принципиальную разницу между характеристиками главного героя и сюжетами двух поэм: «<...> тогда как Байрон изобразил в романтическом ореоле одно из юношеских приключений Мазепы, Пушкин

¹ Формулировка М. Бэринга [Baring: 71].

² Об отношениях между романтической (байронической) поэмой и пушкинской «Полтавой» подробнее см.: [Жирмунский: 200–215].

³ Перевод на русский здесь и далее мой. — С. К.

запечатлел его исторически правдиво, и на вершине карьеры: как жестокого, тщеславного старого интригана, готовящего заговор в пользу шведского короля Карла XII против Петра Великого» [Lavrin: 108–109].

Замечаниями относительно названия, эпиграфа, образа героя и основного пафоса «Полтавы» в ее соотнесенности с «Мазепой», как правило, англоязычные исследователи и ограничиваются. Однако начиная с 2000-х гг. в англоязычных изданиях появляются статьи, в которых реалистический историзм пушкинской поэмы ставится под сомнение в связи с байроновским образом Мазепы в одноименной поэме. Этому способствует общая политизация суждений о «Полтаве» в англоязычном пушкиноведении.

Так, в предисловии и примечаниях к своим прозаическим переводам из Пушкина (*Eugene Onegin and Four tales from Russia's southern frontier*, 2005) известный английский переводчик, пушкинист Роджер Кларк подчеркивает, что, несмотря на многие замечательные черты поэмы (в том числе, ее историзм и многозначную объемность характеристик), она не может считаться полностью соответствующей исторической правде. В частности, потому, что Пушкин был «убежденным русским патриотом» и противником сепаратизма [Clarke: 276]. Отклонение от исторической правды он обнаруживает и в том, что Пушкин очернил Мазепу и идеализировал Петра. Свое суждение он подтверждает следующим «житейским аргументом»: «Многие украинцы, например, возразили бы, что Мазепа, несомненно будучи жестоким и беспринципным, как того требовало время, причиной своего отказа от союза с Петром имел искреннее желание обеспечить права и независимость Украины» [Clarke: 277]¹.

В социологическом русле описывает содержание «Полтавы» и Лина Штайнер (профессор Чикагского университета) [Steiner]. Ее основные выводы сформулированы следующими утверждениями: 1) художе-

¹ Ранее в научно-популярной брошюре Джона Полза (John P. Pauls) «“Полтава” Пушкина» (*Pushkin's "Poltava"*, 1962), изданной нью-йоркской секцией «Научного общества Шевченко», также утверждалось, что в изображении Мазепы как злодея поэт «дал волю своим патриотическим предубеждениям и империалистическим чувствам». См.: [Pauls: 55]. Т. е. «новым» такой взгляд не является. Его разделяли французский исследователь Пушкина А. Труайя (1946); профессор славистики в университете Браун (США) С.Б. Евдокимова (1999) и др.

ственно полемизируя с Рылеевым относительно характера Мазепы и его роли в истории Малороссии, Пушкин в «Полтаве» фактически ведет политический диалог с поэтами-декабристами о форме правления и власти в России. «Конституционная республика, за которую боролись декабристы, была такой формой правления, которая требовала гражданской праведности. Пушкин же [в своей истории о Мазепе и Марии] дает понять, что реальность безнадежно расходится с теорией, и революции заканчиваются узурпацией власти амбициозными парвеню, подобными Наполеону <...> С этой точки зрения, история Марии может быть прочитана как аллегория судьбы декабристов» [Steiner: 110]. 2) Прославляя Петра и полтавскую победу, Пушкин приветствует не столько становление новой российской государственности, сколько «распространение культуры и просвещения в славянских землях»; он «создает идеализированный образ “молодой России”, не замутненный историческим прошлым и открытый прекрасному будущему» [Steiner: 114].

Социологизированный подход с акцентом на изучении политических взглядов автора особенно ощутим в современных англоязычных статьях, посвященных полемике пушкинской «Полтавы» с байроновским «Мазепой». Одна из таких публикаций появилась в 2010 г. в журнале общества “Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies” за авторством Коннора Доука (Connor B. Doak), преподавателя русской литературы и компаративистики в Бристольском университете. Ее исходным положением явилось суждение отнюдь не литературоведческого, но политологического характера: «Очернение Мазепы в поэме дало возможность российским журналистам опереться на Пушкина в борьбе против реабилитации Ивана Мазепы в постсоветской Украине» [Doak]. Пафос наблюдения усилен приравнением сложившейся вокруг «Полтавы» ситуации к «обсуждениям в постколониальных обществах» — приравниваем, подразумевающим право украинцев как «колонизированного народа» на реабилитацию национальных героев, приниженных русскими «колонизаторами». На политизированный посыл накладывается сомнительный тезис автора о том, что основной целью Пушкина в «Полтаве» было создать пародию на «Мазепу» Байрона. Основным же выводом статьи является утверждение о том, что байроновский Мазепа — если и не более верный в историческом плане образ, то, по крайней мере, менее опасный, чем пушкинский. Его мужественное, стоически-спокойное принятие поражения при том,

что воля к жизни побуждает его продолжать движение, рекомендуется автором статьи в качестве примера для подражания любому современному читателю, особенно же русскому и украинскому.

В схожем русле проблема полемики пушкинского текста с байронским решается и в другой современной англоязычной статье за авторством Татьяны Крол, преподавателя Дублинского городского университета. Отмечая, что Пушкин прекрасно знал поэму Байрона и ориентировался на нее, исследователь выдвигает предположение, что русский поэт имел намерение «бросить вызов великому романтику» [Krol: 12]. Основанием же для этого вызова, по мнению Т. Крол, стало несогласие Пушкина с политическими взглядами Байрона. «Полтаву» можно рассматривать как инструмент выражения поэтом иных политических взглядов», — утверждает исследователь и поясняет: «<...> тогда как Пушкин несомненно встает на сторону Петра I, сочувственное изображение Байроном поражения шведской армии и короля делает поэта союзником Карла XII» [Krol: 14]. Образ Мазепы — центральный для обоих поэтов — трактуется как способ отстоять свою политическую позицию. К концу статьи Т. Крол приходит к выводу, что любовь Мазепы и Марии есть только «метод изображения Пушкиным гетмана как негодяя, в то время как подлинный гнев поэта направлен на предательство Мазепой русского царя». И простодушно обобщает: Пушкин «перереформатировал Мазепу в фигуру злодея в соответствии со своими империалистическими убеждениями» [Krol: 21].

Фактически в этих статьях поэма Пушкина, как и поэма Байрона, исследуется в ключе идеологизированной трактовки политических взглядов поэта. Внимание исследователей нацелено на выявление идеологического плана художественного текста как глубинной содержательной структуры, способной бороться с общественным мнением и формировать его. Очевидно, что в случае с «Полтавой» метод нового историзма¹ пошел по пути выявления политического содержания (посыла) произведения и тем самым сузил восприятие его смыслового спектра, исключив из поля зрения проблему многозначной символичности художественного слова, как и проблему сквозной целостности содержания и формы художественного текста. Закономерно, что от

¹ Ср.: «<...> новый историзм — история не событий, но людей и текстов в их отношении друг к другу». См.: [Эткинд].

наблюдений над некоторыми несоответствиями пушкинской поэмы исторической действительности, над приемами мифологизации истории и над техникой «очернения» Мазепы эти работы неизменно двигаются к наивному или преднамеренному выявлению «колонизаторских» или «империалистических» убеждений поэта.

Проблем жанровой модификации, сплетения и взаимодействия тем, роли художественной детали в сложной целостности произведения эти работы не касаются. Между тем вопрос о контактной связи пушкинской «Полтавы» с «Мазепой» Байрона в связи с обозначенными проблемами остается нерешенным. При всей изученности «Полтавы» Пушкина обращает на себя внимание отсутствие специальных исследований, посвященных трем значимым ее чертам, связанным с переосмыслением в ней элементов байроновского «Мазепы» в контексте отношений с романтической поэтикой¹:

– динамичная символизация образа мчащего коня (конского скака), отсылающая к лейтмотиву поэмы Байрона;

– соотношение тем любви и власти в образе Мазепы и тем судьбы и гения в образах Карла XII и Петра I;

– стержневой характер идеи родства, вокруг которой выстраиваются отношения Мазепы и Марии, Мазепы и его соратников, Петра и его сподвижников, прошлого и настоящего. Фактически, этими отношениями глубоко фундируется единство двух сюжетных линий поэмы, и историзм приобретает философский масштаб.

Попытаемся последовательно описать эти черты «Полтавы» в их отношении к «Мазепе» Байрона и определить их функции в пушкинском тексте.

2

Мчащий всадника конь — образ-лейтмотив поэмы Байрона «Мазепа». В начале поэмы на коне мчится Карл и его сотоварищи (среди них и Мазепа), спасаясь от преследования русского войска; в основной части текста, в рассказе Мазепы о своей юности, дикий конь мчит его, обнаженного и привязанного к крупу, от Варшавы в украинские степи, пугаясь живой ноши и разъяряясь все более и более от невозможно-

¹ Об отношениях между байронической поэмой и пушкинской «Полтавой» в аспекте жанра романтической (байронической) поэмы см.: [Жирмунский: 200–215].

сти ее сбросить. И тот, и другой конь погибают от полного истощения. Тесно связанный с центральной темой поэмы — тотальной несвободы человека (как доминирования над его историческим бытием рока, вывергов судьбы (“Fortune”, “the Power and Glory of the war”, “the hazard of the die”¹) и над его частной жизнью — страсти и общественного порядка (“But all men are not born to reign, / Or o’er their passions, or as you, / Thus o’er themselves and nations too” [Byron: 18]²), образ мчащего коня приобретает в поэме символическую природу. Его содержание имеет внутреннее напряжение, драматизм динамического противоборства между полюсами свободы и несвободы, страсти и разума, способностью человека управлять собой и своей жизнью — и ее (этой способностью) тотальной ограниченностью. В этом контексте и сцена, в которой Мазепа неторопливо расседлывает своего коня, приобретает символическую природу, указывая на стоически мужественную позицию героя, принимающего трагическую противоречивость человеческой истории и бытия.

В поэме Пушкина символизация образа мчащего коня связана с его углубленной психологизацией в контексте развития двух сюжетных линий и смены жанровых доминант. Поэма открывается эпической экспозицией — идиллическим описанием мирной жизни Кочубея, владельца хуторов и садов, серебра и мехов. Образ табунов его коней — единственный в этом списке, наделяемый эпитетами: они «пасутся вольны, нехранимы» [Пушкин 4: 181]. Постепенно картина мирной жизни и общий эпический тон повествования сменяются лироэпическим драматизмом, связанным с сюжетом о преступной любви и с тонко вплетаемым в него историко-политическим сюжетом. На смену образу мирно пасущегося табуна приходят образы конского топота и скока. «Конский топот» слышит рыбак в ночь бегства Марии к Мазепе [Пушкин 4: 183]. Кочубей, лелея замысел отомстить Мазепе за поруганную честь и счастье дочери, вспоминает, как их кони «скакали рядом» «по полям победы» [Пушкин 4: 187]. «Конь неукротимый» бе-

¹ «Фортуна», «мощь и слава войны», «риск игры в кости». Здесь и далее текст дается по первому изданию: [Byron: 5–6].

² Но ведь не всякий прирожден
Страстями править (иль страной —
Как вы — и заодно собой). — Здесь и далее в сносках дается перевод
Г. Шенгели [Байрон].

жит «в степи необозримой», везя казака с доносом Кочубея на Мазепу [Пушкин 4: 189]. «Конский топот» слышен «в грозной тишине» в сцене казни: «вельможный» гетман скачет здесь по степи «на вороном коне», а по дороге на телеге везут на плаху «безвинных» Кочубея и Искру [Пушкин 4: 206].

Высочайшая точка напряжения в новеллистическом сюжете и в состоянии Мазепы обозначена в поэме через символизацию образа мчащегося коня: «весь в пене» мчится конь Мазепы после казни, когда он, терзаемый «какой-то страшной пустотой» едет домой, а затем «во весь опор» с «диким кликом погони» скажут на «храпящих» конях слуги, посланные им на поиски Марии [Пушкин 4: 207–208]. В смене идиллически-эпической картины общего благоденствия драматизмом столкновения интересов, воле, решений героев поэмы особую роль играет динамическая символизация образа коня: он соотносится с мотивами соборной жизни во взаимном согласии, отпадения от нее во имя страсти, волевого стремления осуществить задуманное, внутреннего надрыва при совершении страшного преступления. Эпическим приемом ретардации лирическое напряжение разрешается в описании, построенном вокруг образа загнанных коней:

Чуть кони двигались. Подпруги,
Подковы, узды, чепраки,
Всё было пеною покрыто,
В крови, растеряно, избито... [Пушкин 4: 208].

Третья песня задает новое — историко-героическое — направление символическому наполнению образа-мотива мчащего коня: в нем в соответствии с жанровыми доминантами военной оды и героической поэмы сталкиваются темы исторической судьбы и личного героического решительного действия. «День настал» — и Мазепа, теперь «мощный враг Петра», «проворно мчится на коне», чтобы собрать свои войска и вести их на битву [Пушкин 4: 209–210]; «наезник пылкий» Палей из ссылки «в Украину едет в царский стан» [Пушкин 4: 210]; мчится «пред полками» Петр — «могущ и радостен, как бой», и его конь, «почуя» в царе «роковой огонь», гордится «могущим седоком» [Пушкин 4: 214].

Собственно байроновская связка «мчащий от погони конь — гоне-

ния рока/судьбы» воспроизводится у Пушкина в восходящей к Байрону сцене бегства Карла с Мазепой в окружении соратников с поля Полтавской битвы: «Верхом, в глуши степей нагих, / Король и гетман мчатся оба. / Бегут. Судьба связала их <...> Он скачет, русскими гоним...» [Пушкин 4: 217]. Однако и в сцене приготовления к битве образ мчащего (на битву) коня спаян, как мы видели, с темой судьбы. Другое дело, что эта байроновская связка в героических сценах — а в их свете и в сцене бегства Карла и Мазепы — трансформируется, меняется внутри акцентом на личном действии и на историческом призвании личности, в котором действует Божья длань, а не слепой рок. Действительно, когда Петр решает принять сражение, когда он «пожирает очами» поле боя, когда скачет перед своими полками, когда благословляет их на ратное дело, он проявляет себя как героическую личность. Когда же рассказчик описывает его «сияющие» глаза, «ужасный» лик и «свыше вдохновенный» «глас» перед началом решающего для исторической судьбы России сражения, он связывает в ткани поэмы с образом Петра тему высшего, небесного избранничества в пространстве историко-политического действия и национального бытия.

При этом между психологической (в первых двух песнях) и героической (в третьей песне) символизацией образа (мчащего) коня прослеживаются тонкие смысловые связи: общим стержнем в них оказывается идея личной воли, совпадающей или же противоречащей «общей правде». В первом случае такой «общей правдой» является уклад семейной жизни и, в то же время, взаимное согласие между соратниками (Мазепой и Кочубеем), шире же — мирная жизнь Украины под крылом России. Во втором — историческая судьба, в которой длань Господня содействует народной воле. Излишне говорить, что этот общий стержень далеко отстоит от байроновского вектора символизации, как и романтически-ироническая поэтика байроновского «Мазепы» от многосоставной (романтически-реалистической, лироэпически-героической) поэтики пушкинской «Полтавы».

Общий стержень в символизации образа (мчащего) коня в пушкинской «Полтаве» проявлен как единое основание двух сюжетных и жанровых линий поэмы в заключительных ее стихах:

Обозревая зорким взглядом
Степей широкой полукруг,
С ним старый гетман скачет рядом.
Пред ними хутор... Что же вдруг
Мазепа будто испугался?
Что мимо хутора помчался
Он стороной во весь опор?
<...>
И молча он коня седлает,
И скачет с беглым королем,
И страшно взор его сверкает,
С родным прощаясь рубежом.
<...> [Пушкин 4: 217, 220].

Героическое воление в случае гетмана оборачивается своеволием сильной личности. Воспетое Байроном в его «восточных повестях», воспринятое как смысловая доминанта в европейском и русском романтизме, — в том числе, Пушкиным в его «южных поэмах» — героическое воление такого толка в поле историзма пушкинской «Полтавы» (и содержания «Цыган») вступает в противоборство с «общей правдой» семейной, народной жизни и национальной истории и оказывается разоблачено как этически ложное¹. В образной структуре цитированных строк волевая скачка на коне оборачивается бегством с поля боя (план эпически-исторический, план героической поэмы и военной оды), бегством от своего «частного» прошлого (план новеллистический, любовно-семейный, план лироэпической поэмы) и бегством от своей родины, своего народа (план социально-исторический, план фольклорный, план эпической поэмы).

Идея личной воли, совпадающей или же противоречащей «общей правде», пронизывая символику (мчащего) коня, тесно смыкается с темами любви и власти в образе Мазепы и темами судьбы и гения в образах Карла XII и Петра I — еще одной линией трансформации байроновских смыслов в пушкинской «Полтаве».

¹ Ср.: «Мазепа осужден Пушкиным и осужден судом этики, обоснованной политически, причем политика, в свою очередь, обоснована историей народа» [Гуковский: 87].

В поэме Байрона образ Мазепы, явственно выходя за пределы типа байронического героя — как в своей ироничности и позиции спокойного принятия судьбы, так и в намеченной динамике характера (отринутость от возлюбленной не повергает его в состояние вечно дрящущегося отчаяния, но внезапно открывает новые возможности) — наследует ему в аспекте темы запретной и необыкновенной любви. Рассказ Мазепы не только содержит подробное описание исключительной красоты Терезы и ее высокого положения как жены богатейшего вассала польского короля, но и признание, обобщающее отношение героя к своей судьбе: “...I'd give / The Ukraine back again to live / It o'er once more, and be a Page, / The happy Page who was the Lord / Of one soft heart and his own Sword» [Byron: 19]¹. Быть рядом с любимой — вот истинное счастье, каким оно рисуется Мазепе Байрона.

Напротив, пушкинский Мазепа живет в принципиально иной ценностной парадигме: любовь Марии для него — лишь одна из составляющих жизни, значимая, но не единственная и далеко не доминирующая. Принимая решение казнить ее отца, он вполне осознает возможное влияние казни на Марию, и Пушкин трижды выделяет этот момент. Во внутреннем монологе героя (конец первой песни), в описании, вводящем диалог между Мазепой и Марией (начало второй песни), и в начальных строках третьей песни проводится общая мысль: «черных помышлений» «любовь не удалит», «души глубокая печаль / Стремиться дерзновенно в даль / Вождю Украйны не мешает» [Пушкин 4: 194, 209].

Парадоксально (с точки зрения романтической поэтики) и вполне закономерно с точки зрения не столько исторической, сколько *духовной* правды Пушкин решает проблему власти и, соответственно, свободы и несвободы в образе героя². Его герой как будто обретает над

¹ ...и я отдать бы рад
Всю Украину, чтоб назад
Вернуть его, стать вновь пажом,
Счастливец, кто владел одним:
Лишь сердцем нежным, да мечом... [Байрон].

² Ср.: «Но если он, управляя людьми, сам раболепствует страстям, о таком я скажу, что это раб более всех людей. <...> о человеке, у которого душа в рабстве и в плену у страстей, <...> скажу, что он — более всех раб, потому что в нем глубоко гнездится греховная горячка, и насильственная власть страстей утвердилась в самой душе» [Иоанн Златоуст: ...].

собой и своей судьбой тот самый контроль, который кажется столь проблематичным байроновскому Мазепе: он всё просчитывает и обдумывает заранее, всех способен обмануть, перехитрить, убедить («умеет самовластно / Сердца привлечь и разгадать, / Умами править безопасно»; «думой думу развивая, / Верней готовит свой удар») [Пушкин 4: 186, 191]. Тем вернее пушкинский Мазепа попадает в плен своих страстей: его думы оказываются не чем иным, как «плодами подавленных страстей» [Пушкин 4: 186].

Над любовью Марии и к Марии у пушкинского Мазепы встают именно подавленные страсти: жажда мщения за унижение (Петру — за таскание за усы), сопряженная с жаждой самовластия («ни единой он обиды» «не забывал» и «далеко преступны виды» «простирал» [Пушкин 4: 186–187]). Таким образом, за характеристиками байронического героя (сверкающий взгляд, мрачность, угрюмость, отчужденность ото всех) в образе пушкинского Мазепы стоит совсем не байроническое противоречие между видимостью и сущностью (успешной деятельностью и душевной опустошенностью, властью над собой и своей судьбой и плененностью страстями), которое разрешается, как и противоречие между личной волей и «общей правдой», в поле историко-политического бытия.

Действительно, если в поле частной жизни Мазепа достигает всех своих целей и утверждает в самовластии, то, вступив в противоборство с правдой народного бытия и национальной истории, он становится изгнанником, теряет положение, власть, богатство, признание. Иными словами, в пространстве историко-политического бытия у Пушкина (и в этом он сближается с Шекспиром) восстанавливается соответствие внешнего и внутреннего, и душевная опустошенность героя предопределяет «пустоту» его исторического бытия. Ощутимым знаком этой пустоты в заключительных строфах поэмы становится отсутствие сведений о месте захоронения Мазепы и полное забвение памяти о нем в потомках.

Что касается байроновского соотношения тем судьбы и гения в образах Карла XII и Петра I, Пушкин прямо полемизирует по этому поводу с «Мазепой» Байрона в предисловии к «Полтаве». Судьба, власть рока — один из ведущих мотивов не только творчества Байрона, но, в целом, романтизма — в байроновской поэме относится именно к политико-историческому пространству и деятельности исторической

личности в нем. Качества личности, ее внутренняя сила, ее одаренность в этом пространстве не имеют решающего значения. Ничто другое, в принципе, кроме действия неких непознаваемых роковых сил, в этом пространстве у Байрона не фигурирует. Следовательно, поражение Карла и сопоставляемое с ним в первой строфе «Мазепы» поражение Наполеона, равно как и победа Петра и, соответственно, победа России над объединенной армией Европы, изображается следствием игры судьбы — если не совсем слепой, то непредсказуемой.

Пушкин в предисловии к «Полтаве» высказывает принципиально другую позицию: «В сем походе Карл XII менее, нежели когда-нибудь, вверялся своему счастью; оно уступило гению Петра» [Пушкин 4: 386]. Сложнее складываются отношения с байроновским текстом в основной части пушкинской поэмы. В эпитафии Пушкин, как известно, цитирует строки «Мазепы», в которых утверждается идея власти рока: “The power and glory of the war, / Faithless as their vain votaries, men, / Had pass'd to the triumphant Czar” [Byron: 5; Пушкин 4: 180]¹. В развитии же двух сюжетных линий поэмы, как мы видели, утверждается не столько противоположная мысль (аналогичная той, которая дается в предисловии), сколько сложное соотношение между гением исторической личности, Господней и народной волей, а также исторической судьбой государства. Особенную многозначность взаимодействию между эпитафией и основным текстом поэмы придает соотнесенность второй из цитируемых байроновских строк (“Faithless as their vain votaries, men”, с ключевым словом “faithless” — “неверный”, “вероломный”) в мотивной структуре пушкинской поэмы с образом главного героя и мотивом неверности, предательства, существенным для его развития. «Сила и слава войны» действительно переходит от шведского короля к «победителю-царю» в поэме (как и в исторической действительности), но не случайно и не по «вероломности» слепого рока, но потому, что Петр (в отличие от Мазепы) исторически «верен» и «полон»: способен усвоить уроки проигранных Карлу сражений и, поддержанный соратниками, Богом и народом (в том числе, народом Украины), формирует в русском войске способность побеждать.

¹ Победный лавр и власть войны
(Что лгут, как раб их, человек)
Ушли к Царю... [Байрон].

Своеобразие реалистического историзма пушкинской поэмы в сопоставлении с романтически-историческим миром поэмы Байрона определяется еще одной, подлинно фундаментальной идеей — всеохватной идеей родства. Для художественного мира байроновской поэмы эта идея принципиально чужда: Мазепа и Карл — главные ее герои — властвуют над народами, двигают войска, и хотя и чувствуют после проигранного сражения некоторое равенство и единение в отношениях с соратниками (“all are fellows in their need”) [Byron: 7]¹, но все же они — исключительные личности, вознесенные над толпой своей судьбой, гением, статусом. Пожалуй, семья казака, принявшего и вышедшего Мазепу — единственный сюжетно-образный элемент в поэме, связанный с идеей родства, но и в отношениях с ней герой — только гость (“guest”) и будущий правитель (“o’er their realm to reign”) [Byron: 45]².

Для художественного мира пушкинской поэмы идея родства, напротив, фундамент, который скрепляет и оба сюжета, и разнородные жанровые элементы поэтики произведения. В соответствии с этой идеей, как и в соответствии с идеей «общей правды», оцениваются и поступки героев, и общий вектор исторического развития народа и государства. Идеи общей правды и родства в поэме аксиологически заряжены.

Уже в первой песне идеей кровного и духовного родства — точнее, темой его преступного разрушения — пронизана не только драматическая история побега Марии из семьи (в которой отец ею гордится более всего и в которой мать и отец согласно оберегают ее от всяческих невзгод), преступного соединения ее со стариком Мазепой (крестным Марии) и его решимостью казнить отца возлюбленной, но и рассказ о мятежных настроениях среди украинских военачальников — молодых соратников Мазепы: «Так, своеволием пылая, / Роптала юность удалая, / <...> / Забыв отчизны давний плен, / <...> / И славу дедовских времен». Равнодушие к судьбе родины («нет отчизны для него») — отказ от родства по отношению к народу и земле — одна из наиболее выпуклых характеристик самого Мазепы [Пушкин 4: 186, 187].

¹ Животных и людей всегда
Друзьями делает беда. [Байрон]

² Кто стал владыкой их земли! [Байрон]

И если вторая песнь только доводит новеллистическую сюжетную линию, а вместе с ней и тему преступного разрушения семейственных уз до трагического завершения, то в третьей идея кровного и духовного родства проецируется на историко-политическое пространство государственного и народного бытия и обретает новые очертания. Ею освещаются отношения и между Петром и его сподвижниками (неслучайно в поэме они перифрастически поименованы не только «птенцами гнезда Петрова», но и его «товарищами, сынами» «в трудах державства и войны»), и между шведскими войсками и победой («сыны любимые победы»), и между прошлым и настоящим (как между «праотцами» и «внуками» [Пушкин 4: 214, 213, 220]), и, что самое поразительное, между автором-рассказчиком и участниками Полтавской битвы: в песни, по крайней мере, трижды лексически (и морфологически) оформляется семантика полного его (если не кровного, то духовного) единения с ними: через повторенное личное местоимение *мы* и соотносимое с ним притяжательное местоимение *наш*.

Но явно счастье боевое
Служить уж начинает нам.
<...>
Тесним мы шведов рать за ратью;
Темнеет слава их знамен,
И бога браней благодатью
Наш каждый шаг запечатлен [Пушкин 4: 213].

Собственно говоря, в контексте таких хронологически близких к «Полтаве» пушкинских стихотворений как «Моя родословная» (1830) и «Два чувства дивно близки нам...» (1830) идентификация себя с героями Полтавского сражения автором-рассказчиком поэмы закономерна. Объединяет эти три жанрово и интенционально разных поэтических высказывания пафос родства с героическим прошлым и мужественными предками, которые представляются естественной опорой в жизни автора.

В перспективе объединения двух сюжетных линий поэмы аксиологически заряженными идеями общей правды и родства сюжет о разрушении Мазепой семьи своего сподвижника Кочубея, о переступании через духовное и кровное родство с ней на пути к достижению

своевольных целей приобретает символическое значение: в нем находит частное выражение общий отказ героя от родства с кем бы то ни было — в том числе, с народом и родиной. Подтверждение этому предположению находим и в кратком упоминании о «кровавой заре» «народной войны» [Пушкин 4: 210], которой Украина ответила на известие об измене Мазепы Петру, и в соотнесенности эпизода бегства Мазепы с поля боя с образом опустевшего хутора — символа разрушенного им семейного счастья.

Таким образом, вступая в полемику с Байроном и его «Мазепой», представляя байронического (по своему литературному происхождению) героя в новом историческом и психологическом свете, Пушкин задает особые параметры тому вектору историзма, который он почерпнул, синтезировав и преобразовав, у Шекспира, Вальтера Скотта и Карамзина. Эти параметры можно назвать художественными стратегиями, встраивающими психологию в историю и историю в психологию:

1. динамически-многосложная, психологически обремененная символизация детали, призванная выявить (не)совпадение личной воли с «общей правдой»;

2. сюжетное разворачивание противоречия между сущностью и видимостью в поле частной жизни (через драматические столкновения любви, рассудка и страстей) и разрешения этого противоречия в поле историко-политического действия;

3. сюжетно-образное соотнесение взаимоотношений — частных (личных, межличностных) и социально-исторических (личности и истории) — с темой «сквозного» родства.

Выбор и сочетание этих стратегий во многом выросли из полемики Пушкина с Байроном и его поэмой о Мазепе и стали особым пушкинским словом в развитии художественного историзма.

Этот аспект полемики «Полтавы» с «Мазепой» не был освещен ни в отечественном, ни в англоязычном литературоведении, несмотря на особый интерес к пушкинскому тексту и его отношениям с байроновской поэмой в современных англоязычных исследованиях. Осуществленные в русле так называемого нового историзма, они решают особую задачу: выявить идеологическую направленность текста как его глубинную содержательную структуру, способную бороться с общественным мнением и формировать его. На пушкинский текст накладывается матрица метода, основанного не только на специфических

способах интерпретации художественного произведения в биографическом и историческом контекстах, но и на идеях постколониализма. Закономерно в этой связи, что от наблюдений над несоответствиями фабульных элементов «Полтавы» исторической действительности, над приемами мифологизации истории и техникой «очернения» исторической личности (Мазепы) авторы современных англоязычных исследований двигаются к акцентуации имперских убеждений зрелого Пушкина и выявлению несуществующего колонизаторского пафоса «Полтавы».

Список литературы

Источники

Байрон Дж. Г. Мазепа (пер. Г. Шенгели) // *Байрон Дж. Г. Собр. соч.:* в 4 т. М.: Правда, 1981. Т. 3. URL: https://lib.ru/POEZIQ/BAJRON/byron3_7.txt (дата обращения: 12.05.2024).

Иоанн Златоуст Свт. Беседа о наслаждении будущими благами и ничтожестве настоящих // *Златоуст Иоанн Свт. Творения / пер. на рус. СПб.: Изд. Спб. Духовной Академии, 1897. Т. 3. Кн. 1. С. 358–365.*

Пушкин А. С. Полтава // *Пушкин А. С. Полн. собр. соч.:* в 10 т. Л.: Наука, 1977. Т. 4. С. 180–221.

Пушкин А. С. <Возражения критикам «Полтавы»> // *Пушкин А. С. Собр. соч.:* в 10 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1951. Т. 7: Критика и публицистика. С. 132–134.

Byron Lord. Mazeppa, a poem. London: John Murray, 1819. 72 p.

Исследования

Белинский В. Г. Сочинения Александра Пушкина. Статья седьмая (поэмы «Цыганы», «Полтава», «Граф Нулин») // *Белинский В. Г. Полн. собр. соч.:* в 13 т. М.: Изд-во АН СССР, 1955. Т. VII. С. 385–430.

Виноградов В. В. Язык Пушкина: Пушкин и история русского литературного языка. М.; Л.: Academia, 1935. 457 с.

Зульф А. Н. Дневник 1828–1831 гг. / ред. М. Л. Гофмана // *Пушкин и его современники.* Пг.: Тип. Импер. Акад. наук, 1915. Вып. XXI–XXII. С. 1–200.

Луковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М.: Гослитиздат, 1957. 416 с.

Жирмунский В. М. Байрон и Пушкин. Пушкин и западные литературы. Л.: Наука, 1978. 423 с.

Ивинский Д. П. Полтава // *Большая российская энциклопедия.* URL: <https://bigenc.ru/c/poltava-roema-89d8fa?ysclid=m015y13d5v37126451> (дата обращения: 12.04.2024).

Измайлов Н. В. Пушкин в работе над Полтавой // *Измайлов Н. В.* Очерки творчества Пушкина. Л.: Наука, 1975. С. 51–24.

Лотман Ю. М. Биография писателя; Статьи и заметки, 1960–1990; «Евгений Онегин»: Комментарий. СПб.: Искусство-СПБ, 1995. 845 с.

Максимович М. А. О поэме «Полтава» Пушкина в историческом отношении // *Атеней*. 1829. № 2. Ч. 2. С. 501–515.

Соколов А. Н. «Полтава» Пушкина и жанр романтической поэмы // *Пушкин: Исследования и материалы*. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962. Т. 4. С. 154–172.

Шутой В. Е. Историзм «Полтавы» Пушкина // *Вопросы истории*. 1974. № 12. С. 114–126.

Эткинд А. Новый историзм, русская версия // *Новое литературное обозрение*. 2001. № 1. URL: <https://magazines.gorky.media/nlo/2001/1/novyyj-istorizm-russkaya-versiya.html?ysclid=lnthqsx7w485827810> (дата обращения: 10.05.2024).

Baring M. An Outline of Russian Literature. New York; London: H. Holt and Co; Williams and Norgate, 1915. 256 p.

Bayley J. Pushkin: A Comparative Commentary. Cambridge: CUP, 1971. 368 p.

Clarke R. Eugene Onegin and Four Tales from Russia's Southern Frontier / trans. into English pose with an introd. and comm. by Roger Clarke. London: Wordsworth Editions Ltd, 2005. 306 p.

Doak C. B. Poltava at 300: Re-reading Byron's *Mazeppa* and Pushkin's *Poltava* in the Post-Soviet Era // *Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies*. 2010. Vol. 24, no. 1–2. P. 83–101.

Krol T. The Literary Portrayals of Ivan Mazepa in Byron's *Mazeppa* and Pushkin's *Poltava*. A Comparative Analysis // *Studia rossica posnaniensia*. 2023. Vol. XLVIII/1. P. 9–22.

Lavrín J. Pushkin and Russian Literature. London: Hodder and Stoughton Ltd, for the English University Press, 1947. 226 p.

Pauls J. Pushkin's *Poltava*. New York: Shevchenko Scientific Society, 1962. 108 p.

Steiner L. “My Most Mature Poëma”: Pushkin's “Poltava” and the Irony of Russian Culture // *Comparative Literature*. 2009. No. 61 (2). P. 97–116.

References

Belinskii, V. G. "Sochineniia Aleksandra Pushkina. Stat'ia sed'maia (poemy 'Tsygany', 'Poltava', 'Graf Nulin')" ["Works of Alexander Pushkin. Article Seven (Poems 'Gypsies', 'Poltava', 'Count Nulin')"]. Belinskii, V. G. *Polnoe sobranie sochinenii: v 13 t.* [Complete Works: in 13 vols.], vol. 7. Moscow, Academy of Sciences of the Soviet Union Publ., 1955, pp. 385–430. (In Russ.)

Vinogradov, V. V. *Iazyk Pushkina: Pushkin i istoriia russkogo literaturnogo iazyka* [Pushkin's Language: Pushkin and the History of the Russian Literary Language]. Moscow, Leningrad, Academia Publ., 1935. 457 p. (In Russ.)

Vul'f, A. N. "Dnevnik 1828–1831 gg." ["Diary of 1828–1831"]. *Pushkin i ego sovremenniki* [Pushkin and His Contemporaries], issue 21–22. Petrograd, Tipografiia Imperatorskoi Akademii nauk Publ., 1915, pp. 1–200. (In Russ.)

Gukovskii, G. A. *Pushkin i problemy realisticheskogo stilia* [Pushkin and Problems of Realistic Style]. Moscow, Goslitizdat Publ., 1957. 416 p. (In Russ.)

Zhirimskii, V. M. *Bairon i Pushkin. Pushkin i zapadnye literatury* [Byron and Pushkin. Pushkin and Western Literatures]. Leningrad, Nauka Publ., 1978. 423 p. (In Russ.)

Ivinskii, D. P. "Poltava" ["Poltava"]. *Bol'shaia rossiiskaia entsiklopediia* [The Great Russian Encyclopedia]. Available at: <https://bigenc.ru/c/poltava-poema-89d8fa?ysclid=nm015yl3d5v37126451> (Accessed 12 April 2024). (In Russ.)

Izmailov, N. V. "Pushkin v rabote nad Poltavoi" ["Pushkin at Work on Poltava"]. Izmailov, N. V. *Ocherki tvorchestva Pushkina* [Essays on Pushkin's Work]. Leningrad, Nauka Publ., 1975, pp. 51–24. (In Russ.)

Lotman, Iu. M. *Biografiia pisatel'ia; Stat'i i zametki, 1960–1990; "Evgenii Onegin": Kommentarii* [Biography of the Writer; Articles and Notes, 1960–1990; "Eugene Onegin": Commentary]. St. Petersburg, Iskusstvo-SPB Publ., 1995. 845 p. (In Russ.)

Maksimovich, M. A. "O poeme 'Poltava' Pushkina v istoricheskom otnoshenii" ["On the Poem 'Poltava' by Pushkin in Historical Relation"]. *Atenei*, no. 2, part 2, 1829, pp. 501–515. (In Russ.)

Sokolov, A. N. "'Poltava' Pushkina i zhanr romanticheskoi poemy" ["'Poltava' by Pushkin and the Genre of the Romantic Poem"]. *Pushkin: Issledovaniia i materialy* [Pushkin: Research and Materials], vol. 4. Moscow, Leningrad, Academy of Sciences of the Soviet Union Publ., 1962, pp. 154–172. (In Russ.)

Shutoi, V. E. "Istorizm 'Poltavy' Pushkina" ["Historicism of 'Poltava' by Pushkin"]. *Voprosy istorii*, no. 12, 1974, pp. 114–126. (In Russ.)

Etkind, A. "Novyi istorizm, russkaia versiia" ["New Historicism, Russian Version"]. *Novoe literaturnoe obozrenie*, no. 1, 2001. Available at: <https://magazines.gorky.media/nlo/2001/1/novyj-istorizm-russkaya-versiya.html?ysclid=lnzthqxs7w485827810> (Accessed 12 April 2024). (In Russ.)

Baring, Maurice. *An Outline of Russian Literature*. New York, London, H. Holt and Co, Williams and Norgate, 1915. 256 p. (In English)

Bayley, John. *Pushkin: A Comparative Commentary*. Cambridge, CUP, 1971. 368 p. (In English)

Clarke, Roger. *Eugene Onegin and Four Tales from Russia's Southern Frontier*, trans. into English pose with an introd. and comm. by Roger Clarke. London, Wordsworth Editions Ltd, 2005. 306 p. (In English)

Doak, Connor B. "Poltava at 300: Re-reading Byron's Mazeppa and Pushkin's Poltava in the Post-Soviet Era." *Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies*, vol. 24, no. 1–2, 2010, pp. 83–101. (In English)

Krol, Tatiana. "The Literary Portrayals of Ivan Mazepa in Byron's Mazeppa and Pushkin's Poltava. A Comparative Analysis." *Studia rossica posnaniensia*, vol. 48/1, 2023, pp. 9–22. (In English)

Lavrin, Janko. *Pushkin and Russian Literature*. London, Hodder and Stoughton Ltd, for the English University Press, 1947. 226 p. (In English)

Pauls, John P. *Pushkin's Poltava*. New York, Winnipeg, Paris, Shevchenko Scientific Society, 1962. 108 p. (In English)

Steiner, Lina. "'My Most Mature poem': Pushkin's 'Poltava' and the Irony of Russian Culture." *Comparative Literature*, no. 61 (2), 2009, pp. 97–116. (In English)